



Юрий ВУДКА

«МОСКОВЩИНА»

Воды Стиksа

... Раздался стук в дверь.
— Мы из КГБ — представились вошедшие откормленные мужчины в шляпах. — Вот ордер на обыск.

Меня почему-то охватило абсолютное спокойствие, спокойствие мертвеца.

Пока они изымали машинописные статьи Жаботинского, какой-то роман Булгакова и еще что-то, я незаметно уничтожил бумагу с адресами и телефонами. Советские книжки на идиш, по которым я пытался учиться языку, и даже «Элеф Милим» (часть 1) они не тронули, только перелистали. Затем чекистская «Волга» повезла меня в мрачное здание КГБ. Полковник Маркелов с темной одутловатой физиономией сидел в просторном кабинете. Он, хозяин этого офиса, старался произвести на меня грозное впечатление. Потребовал, чтобы я рассказал все о себе, в том числе о своих связях с «сионистским интернационалом» (так он выразился). Я ответил, что не обязан с ним разговаривать. «Неужели вы не понимаете, где вы находитесь?» — внушительно вопрошал Маркелов, глядя на меня. Я отвечал, что в цивилизованном мире такие органы занимаются ловлей шпионов, и только. «А вы не шпион?» — настороженно промолвил полковник, подавшись вперед всем телом. Я невесело улыбнулся: «Пока нет». — «Ну что ж, вам придется убедиться, что мы занимаемся не только этими делами.» — и Маркелов кивнул подчиненным.

Меня usherili в другой кабинет, поменьше. Там сидел начальник следственного отдела майор Сконников (все они были в гражданском). Сконников был похож на Кащея, циничный, со взглядом удава. Он стал вразброс выкладывать мне всякие данные о нашей деятельности, стараясь создать впечатление, будто им все уже известно. Мне стало ясно, что известно им очень многое, но не все; что во многом он путается, сбивается. В соответствии с существовавшей между нами договоренностью я отказался «помогать» майору. Он сунул мне лист бумаги и потребовал, чтобы я написал список всех своих знакомых.

— Нет, — твердо ответил я.

Сконников положил передо мной ордер на арест и стал заполнять протокол. «Почему отказываетесь давать показания?» — кричал он, стуча кулаком по столу. «Отказываюсь объяснять причину».

— Да мы вас в сумашедший дом упрячем!.. на экспертизу... — добавил он, зловеще усмехнувшись.

Это не помогло, и та же «Волга» повезла меня в старую городскую тюрьму, выстроенную в екатерининском стиле.

Меня втолкнули в бокс и захлопнули дверь. Это было узкое вытянутое помещение со скамейкой, парашей и лампочкой. Негде было повернуться. В дверях — застекленный глазок, наружная крышка которого иногда поворачивается... Приятного мало. Стены беспорядочно заляпаны цементом.

Обыск и допрос продолжались полдня. Я был очень голоден, устал, ломило спину. Думал, что это и есть моя камера. Сел на край скамейки, лег на нее спиной, скрестив руки на груди и упираясь ногами в пол, так как для них места не оставалось. Прошло много времени.

Заскрежетал ключ. Я открыл глаза и встал. Вывели, раздели, тщательно ошмонали, составили протокол, приказали одеться и повели в баню. Баня стояла возле высокого забора, огораживающего тюремный двор. Все было опутано колючей проволокой и сигнализацией. Вышка, впаханная полоса.

В бане остригли наголо. Только когда волосы падали ко мне на колени, я по-настоящему осознал, что старая жизнь кончена.

Тюремные лестницы, коридоры, надзиратели со скрежещущими и звякающими ключами.

Камера, отталкивающие лица уголовников. Кто-то предлагает мне глинистый хлеб. Есть кровать с грязным матрасом и одеялом. Можно отдохнуть.

На том свете

Машина следствия раскручивалась медленно и неумолимо. У них было уже много показаний, продолжались аресты, двое говорили и подписывали, все, что знали. Следствие продолжалось и в той самой камере, хотя я, по неопытности, лишь смутно об

этом догадывался.

Шло следствие над мыслью, над «действием» (то есть изложением мысли), над интимной жизнью. Первое необходимо для выяснения степени «социальной опасности», второе — обнаруживает уровень «вины», третье — копание в грязном белье в поисках чего-нибудь «компрометирующего».

Одновременно искали удобный предлог для пожизненного заключения в сумашедший дом.

В советских тюрьмах норма жилплощади — два с половиной квадратных метра на человека (как на кладбище), но и это не всегда соблюдается. Питание отвратительное, первое время есть его невозможно. Шаткие, скрипучие кровати стоят друг на друге в два яруса. Окошко забрано изнутри решеткой, а снаружи — густые железные жalousи, так что увидеть из него невозможно ничего, кроме узких полосок неба. Весь день горит лампа накаливания. На ночь ее выключают, но зажигают другую, более слабую. Юмористы называют эти подследственные светильники «лампочкой Ильича». На прогулку выводят раз в день, продолжительность — один час. Прогулочные дворики представляют собой ряд сплошных каменных коробок с решеткой вместо крыши. Посреди дворика — скамейка. Он закрывается на ключ, в железной двери глазок, площадь дворика зачастую еще меньше камеры. Зато в него проникает воздух и солнце, а по дороге можно незаметно прикоснуться к траве или увидеть деревья за забором. Сам двор заасфальтирован, в нем нет ни травинки.

В советской тюрьме человек, как правило, лишен уединения. Одиночное заключение — тоже пытка, но и постоянная тесная скученность, тем более с расплетенными уголовниками, тоже давит на психику. Кроме того, в любой момент может приоткрыться глазок, и недремлющее око уставится на тебя сквозь стекло. Зачастую в камере два глаза: один в двери, другой в углу, где стоит параша, почти на уровне паха. Пол узников и надзирателей не учитывается: женщина может дежурить у мужских камер и туалетов, а мужик — у женских. Причем, выводя людей утром и

вечером в туалет для опорожнения параши и желудков, надзиратель о б я з а н наблюдать в глазок, чем они там занимаются. Антисанитария невероятная. Помыться можно только в грязном туалете... Каждая физиологическая потребность человека искусственно превращается в орудие издевательства над ним.

Еще одна пытка — радио. В камере нет выключателя и радио отрет от подъема до отбоя. Уголовникам это даже нравится: помогает забыться, выбивает из головы мучительные мысли. Но для интеллекта такое круглосуточное нагнетание идиотизма невыносимо. Плюс уголовное окружение, нередко сотрудничающее с властями. Чекистам можно в такой обстановке давить на зеков: быстрее, быстрее, кончайте следствие, уезжайте в лагерь! Все равно мы все узнаем или уже знаем! Пойдем вам навстречу, дадим ничтожный срок, сразу выпустим, амнистируем — только говорите, говорите побольше и побыстрее — для вашего же блага! Неужели вам еще не надоела эта тюрьма? Все равно ведь такой-то и такой все рассказывают — вот их протоколы, полюбуйтесь — и мы их поэтому вообще не арестовывали! Говорите, — и мы вас всех выпустим! Это ведь только профилактика — чтобы вы не занимались глупостями! Сами же будете нас потом благодарить! Подумайте о своей матери, ребенке, возлюбленной! Вы, вы сами делаете их несчастными! Вы свою большую мать доведете до могилы! Говорите, скорее говорите и идите к ней! А вокруг только подслеповатый полумрак, мертвые стены, цемент и железо, горький хлеб по соседству со зловонной парашей, час за часом, месяц за месяцем... А где-то ослепительное летнее солнце заливает пляжи, кружатся роскошные листья осени, мерцают в лунном сиянии снежные просторы, пробиваются весенние травы...

... «Помогающие следствию» уголовники тоже давят по-своему: одни, пользуясь полнейшей неосведомленностью слушателя, убеждают его, что только от него одного зависит «гуманный» подход к нему и к остальным; другие угрожают, шантажируют, иногда бывают «предателя», посягнувшего на святость империи.

В уголовной тюрьме открывается жуткий, иреальный мир, долголе скрытый от глаз, как преисподня. Выясняется, что вся страна покрыта сетью концлагерей — на север и на восток все гуще и страшнее... Вдруг узнаешь, что едва ли не в каждой семье кто-то сидит или сидел. Осознаешь,

в какие черные бездны пала нравственность народа. Оборотная сторона медали — свирепые, драконовские «законы».

Да, «законы»... В красной России человеческие слова приобрели обратное значение.

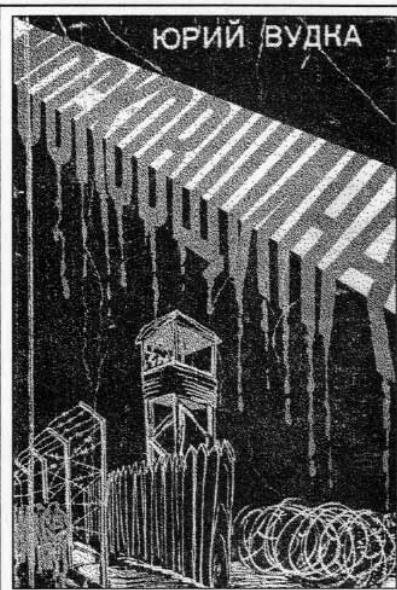
Погружение в трюм

Вслед за Сконниковым мно занялся майор Проданов из Саратовского КГБ. Это был жирный, обрюзгший детина в летах, с белесыми глазками и грушевидной физиономией. Главная задача чекистов — нашупать у человека больное место, чтобы, наступая на самую чувствительную мозоль, выдавливать все, что необходимо. У меня арестовали брата, который был совсем мальчишкой и почти ни в чем не был замешан. Добиться его освобождения казалось реальным. Проданов твердо обещал мне это в течение месяца, если я буду давать показания. Позже я убедился, что чекисты не могут не лгать даже тогда, когда ложь ничего им не может дать, даже если заведомо ясно, что человек знает правду. Проданов, как оказалось, вскоре должен был вернуться в свой Саратов, а там хоть трава не расти. Главное — урвать сегодня. Я издалека незаметно подсматривал в его бумаги и протоколы, разложенные на столе, стараясь с видом полной искренности повторять лишь то, что уже было им хорошо известно. Вряд ли моя уловка не была разгадана. Проданов зато компенсировал себя тем, что в формулировках изо всех сил выпичивал свою решающую роль в извлечении из меня показаний, фабрикуя козыри для карьеры. После его отъезда и недоумения коллег по поводу продановских обещаний, их дела со мной застопорились. К тому же, они начали из других источников раскапывать связи с известными людьми, а я в этих вопросах либо молчал, либо говорил, что это к делу не относится.

Сидел я тогда уже в башне, в маленькой сводчатой камере с круглым окошком, к дверям которой надо взбираться по железной лестнице. Камера была крохотной, но радиорупор, защищенный железом и вделанный в стену, был очень большим и невыносимо пронзительным. Раскалывалась голова. Гулкое эхо от слов превращало камеру в сплошной резонатор. Даже уголовники не выдерживали и вместе со мной железными крючьями от кровати пытались сломать это пыточное орудие. Мы возликовали, когда кому-то это удалось.

В дверях камеры всегда есть

ЮРИЙ ВУДКА



нагло запираемая форточка — «кормушка». Ее открывают, когда дают еду, когда приказывают кому-нибудь собираться с вещами или без вещей. И теперь только открываемая кормушка, да посещение камеры утром и вечером дежурным старшиной нарушили наш блаженный покой, сладостную тишину.

Но недолго я наслаждался. Мой новый следователь, старший лейтенант Четин (к концу следствия он стал уже капитаном), черноволосый, белокожий коми-пермяк из Кировского КГБ, начал проявлять нервозность... Был он невысокий, полненький и по характеру лучше других. Но тут у него ничего не получалось в самом кульминационном пункте следствия, когда была надежда заарканить таких зубров оппозиции, что голова шла кругом. На него, несомненно, давили сверху, и Четин сказал многозначительным тоном, что мне будет предоставлена возможность подумать...

В тот же день за «поломку радио» опер отправил меня в карцер, хотя никаких официальных данных о моей «вине» не было...

Шантаж

... После обеда меня вызывают на допрос. На этот раз ведут не к тюремным кабинетикам, как обычно, а к выходу. Сердце бьется сильнее. Одни за другими раскрываются со скрежетом решетчатые ворота, глухие железные двери, опять решетчатые... После обычного ожидания в боксике, меня принимают знакомые чекистские рожи в штатском, усаживают между собой на заднем сиденье черной «Волги» и она мягко трогается... Мой первый «вы-



Рисунки Виктора БОГУСЛАВСКОГО, бывшего политзаключенного, к книге Ю. ВУДКИ «Московщина»

езд в свет». Смотрю, как открывается тюремный вход.

«Волга» мчится посреди улицы. Жадно ловлю глазами простор, движение, краски осени, человеческие лица. Может, увижу кого из знакомых? Люди ходят по улицам, как ни в чем не бывало...

Машину въезжает во двор КГБ, ворота закрываются. Через черный ход меня вводят в здание. Ожидание в вестибюле, какие-то формальности. Я стою, держа «руки назад», в свитере, на котором нарисовал звезды Давида. Пока они блещут свою бдительность, прислушиваюсь к разговору из-за двери. Чувствуется, что там много народа. Вдруг дверь открывается, из нее выходит студент, которого я немного знал по институту. Бледная втянутая физиономия отслужившего солдата, пара стальных зубов, русый чуб наискось падает на низкий лоб. Он видит меня, делает вид, что это его ни в малейшей степени не интересует, отворачивается и возвращается в комнату, из которой доносится смутный гул многих голосов. Вот ты оказался что за птица! И сколько же вас еще таких!

Наконец ведут наверх по каменной лестнице, покрытой ковром.

Опять просторный кабинет Маркелова. Он сидит под портретом Ленина. На его столе — бюстик Дзержинского. Сконников, Четин и прочая братия рассаживается в почтительном отдалении.

Мне указывают сесть у боковой стены кабинета.

Маркелов в ударе, он вещает бойко и бесперебойно. Темы ка-

лейдоскопически сменяют друг друга, мысли скачут, как резвые блохи. Распалившись, он начинает забывать и то и дело выпаливает сокровенное.

У меня, как назло, разболелся живот, а ораторскому извержению конца-края не видно. Сижу, страдаю.

— Предатель Павел (чешский министр в 1968 году) хотел опубликовать архивы чехословацкого КГБ — гремит Маркелов, — но наши ребята встали стеной, не дали врагу пройти! Грудью заслонили дорогу! — размахивает он кулаком.

«Нацисты прокляты!» — думаю я, наблюдая за их рожами.

— Вы думаете, нам делать нечего, ни за что большие деньги получаем? Неправда! Это теперь нас немного разгрузили, а вот кто работал с нами до пятьдесят второго года, те знают, как мы работали! Ночи напролет просиживали! И не за такую уж большую плату! Правда, товарищ Сконников?

— Правда, правда, — истово кивает тощий Сконников, и глаза его загораются хищным блеском. Четин, не работавший до пятьдесят второго года, скромно потупился.

— Вы думаете, нас так просто взять! — гипнотизирует он не то слушателей, не то самого себя. — А известно ли вам, что стоит мне нажать кнопку на этом столе, как тут стеной встанут автоматчики, надежные ребята! Как те, которые преградили дорогу Павелу! Они защитят родной КГБ от кого угодно, и вас, да, да, вас тоже защитят, потому что вы здесь находитесь! Я долго с ва-

ми говорю, но вы молчите! Вы молчите, а дело пора закрывать! Как мы его закроем — зависит от нас. Все в наших руках! Понимаете? Мы можем закрыть дело по 70 статье — много не дадим — там максимум семь лет, но столько никто не получит. А можем перевести на 64 статью — измена Родине — а это от десяти лет до расстрела! До расстрела — понимаете? И все ваши свидетели пойдут тогда в обвиняемые! А срок — от десяти! Все в наших руках!

— Почему вы молчите?

— Маркелов кратко, сжато, подделомому изложил состояние следствия. Откровенно, без утайки, как еще ни один из следователей. Он ясно давал понять, что не требует никаких новых показаний — только подтверждение того, что им уже хорошо известно от других. Без этого нельзя полноценно закрыть дело, а тогда, как я понял, прощай награды, новые чины и прочие продвижения.

— Но вы молчите. Почему вы молчите??!

Дело было серьезное. Я не мог больше высидеть там. Скасал только:

— Хорошо, я подумаю.

Возвращались в темноте. Еле-еле добрался до родной камеры, измочаленный вдребезги.

Ребята

Ребята вели себя каждый в соответствии со своим характером... Брат держался очень резко, говорил чекистам в глаза все, что о них думал. В первые же дни он нарисовал на своей одежде щит Давида.

Олег, в соответствии с потребностями своего аналитического ума, вел со следователями теоретические дискуссии, чем немало их озадачил. По-моему, они всерьез задумывались о его вменяемости.

Сложнее обстояло с Шимоном. Этот человек был воплощенной эмоцией, причем, весьма бурной и деятельной. Оказалвшись в четырех стенах, где месяцы протекали, как нечто несущественное, он не мог найти другого применения своей природной активности, кроме следственной отдушиной. Эмоции легко обмануть, заставить работать на миражи. Эмоции сами себя ослепляют сказочными надеждами. Поэтому из Шимона большевикам удалось выжать больше, чем из других арестованных, хотя он впоследствии, в лагере, проявил не меньше мужества, чем другие.

Как-то я догадался нарисовать на дверях прогулочного дворика, исписанных и изрезанных сплошь, звезду Давида, в центре которой написал номер своей камеры.

Через несколько дней углы звезды наполнились номерами камер моих товарищей.

Я уже начинал ориентироваться в расположении камер, и мне становилось ясно, что нас разбрасывают по разным углам разных этажей, чтобы связь была исключена.

Но однажды она все-таки состоялась.

Может быть, она была инспирирована чекистами с целью выживания информации из нашего разговора — не знаю.

Информацию они вряд ли приобрели, так как язык разговора оказался для них несколько неожиданным...

Я гулял с сокамерниками в прогулочном дворике, когда

вдруг услышал свое еврейское имя, откуда-то громко произнесенное:

— Арье, Арье!

Мистика, да и только. Человек невидимка.

— Арье, Арье, злодеи все знают про Вильно и Ковно! Ты слышишь меня? — кричал откуда-то голос брата на идиш.

— Знаю, знаю, — прокричал я, не зная в какую сторону поворачиваться.

...Как я понял, брат из верхней камеры башни увидел меня в прогулочном дворике с помощью «перископа». Скорее всего ему помогли расторопные в таких делах уголовные соседи — то ли от нечего делать, то ли по заданию...

Последствий не было никаких.

Вскоре я сказал следователю, что возобновлю общение с ним только после того, как мне дадут очную ставку с Шимоном и еще с одной девушкой, привлеченной в качестве свидетеля.

Через пару дней меня ввели в один из тюремных кабинетиков. Сконников и Четин с какими-то нервозными ужимками сказали, что я должен подождать. Затем, нехотя сообщили, что сейчас приведут Шимона, что говорить надо только на русском языке и ни в коем случае ничего такого, иначе очная ставка будет немедленно прервана.

Привели Шимона и усадили в противоположном конце кабинетика. Стриженный, похудевший, побледневший. Чекисты разместились между нами.

Шимон парень догадливый, быстро понял, что я от него хочу, признал, что кое-что перепутал, и теперь чекистам в отношении некоторых видных личностей не за что было ухватиться.

Правда, оставалась та девушка, но нас было двое, а она —

одна. Кроме того, я был уверен, что на очной ставке и она переведет свои показания в достаточно безобидное русло.

Чекисты, однако, сказали, что теперь уже все ясно, больше вопрос о затронутых людях подниматься не будет, суд этой стороны дела не коснется, и вообще, тема исчерпана. С девушкой они поговорят сами, напомнят ей, что дело было не так, а эдак, и все будет хорошо. (Впоследствии оказалось, что и тут соврали.)

Лагеря и тюрьмы

...И вот снова я один. Совершенно измученный повалился на постель, уже не мог ни о чем думать. Что завтра?

Назавтра в камере оказывались двое свеженьких, наполняющих мир феерическим смехом, шутками, историями. Оба беглые солдаты, друзья-неразлучники по тридцать шестому лагерю, Витольд Абанькин и Леха Сафонов. Они сходу включились в новый спорт написания жалоб, наперегонки, кто больше. Инструктор влетал в камеру с выпущенными глазами и пачкой жалоб, а вылетал уже в истерике. Абанькин провожал его мощным пением арии:

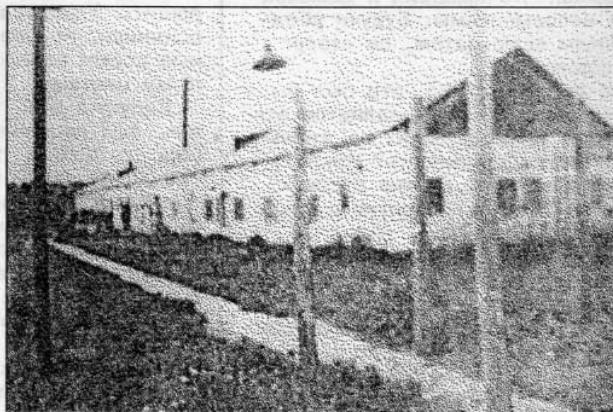
— Напи-и-шем жалобу, напи-и-шем!

Менты сходили с ума от этой парочки еще в лагере. Это был совсем другой пласт лагерного населения, о котором я до сих пор почти ничего не знал... Менты попытались было разъединить их, надеясь, что поодиночке они утихомирятся, но вышло еще хуже, и потом их опять соединили, вопреки страшным клятвам осатаневшего инструктора. Однако в период разъединения разыгрались бурные события.

Сначала в камере вместо тандема появился энергичный, асте-



На подъезде к 35-й Пермской зоне.



БС-389/36, корпус особого режима.

ФОТО ИЗ АРХИВА Е. САННИКОВОЙ



ничный холерик — астроном Кронид Любарский, худющий, все ребра наружу, но боевой, как огонь. Кронид влетел в камеру и сходу начал знакомиться. Рассказал смешную историю, связанную с арестом своего однофамильца. Есть Кронид Любарский, русский ученый-демократ из Москвы, и есть Лазарь Любарский, инженер из Ростова, еврей-сионист. Между собой они не знакомы. Лазаря арестовали раньше. И вот в один прекрасный вечер сидит себе Кронид в своей квартире, слушает Би-Би-Си, и вдруг раздается следующее сообщение, от которого у него глаза на лоб полезли: «Астроном Любарский арестован за сионизм». Такая вышла путаница.

Кронид был первым известным мне русским зеком, открыто и принципиально отстаивающим не только право народов на отделение, но и жизненную необходимость этого отделения для самой России. Он совершенно четко осознал, что империя и демократия несовместимы. Будучи убежденным демократом, он отверг империю...

И действительно, это был бы выход. Кто из националистов отвергает право русских на жизнь или государственность? Никто. Борьба идет не против русских самих по себе, а против русского империализма...

Увы, я не оптимист. Я опасаюсь, что устоявшиеся имперские структуры (от психологических до экономических) поглотят новорожденную демократию, как в 1917 году, и на поверхность снова выплынет какая-нибудь имперская махровщина. Смена флага — это еще не смена структуры...

«Moria», Izrael, 1984.

Олег СЕНИН:

«Это были мои лучшие годы...»

С Олегом Михайловичем Сениным беседуют Юлия СЕРЕДА и Андрей БЛИНУШОВ

— Нам было хотелось, чтобы Вы хронологически рассказали о «деле Вудки». Пожалуйста, начните с Щацка, с Вашей семьи. Говоря банально, как Вы дошли до «жизни такой», видимо, истоки этого пути в детстве, воспитании, окружении...

— Ну что ж... Мама моя — вологодская. Она очень светлая, довольно рослая, а отец и все его предки — рязанские. Из того самого места, которое теперь называется городом Щацком (он был основан при Иоанне Грозном как одна из казачьих застав в диком поле). Все мои предки жили в Казачьей слободе. Кме Казачьей слободы там были еще Ямская и другие. Перекрестное влияние Севера и Центра Руси я так или иначе всю жизнь чувствую и в своей индивидуальности и в своих наклонностях. А родился я в 47 году. Отец в то время жил в 18 километрах от Щацка, в таком удивительно живописном местечке, которое теперь называется Лесная Поляна. Тогда это было всего лишь отделение совхоза «Щацкий». Полукольцо лиственных лесов... Правда, нет речек, но зато повсюду чистейшие пруды, в которых водилась рыба... Повсюду огромные дубы, а чуть дальше от дома — просторные, светлые рощи... Удивительные трепетные осинники, по осени раскрашенные всеми возможными акварельными цветами...

Дедушка мой, Павел Федорович, был пасечником. Отец прошел его школу, работал на пасеке. Но по своей крестьянской сметливости, довольно недюженному природному дарованию он очень быстро выдвинулся, стал председателем рабочего комитета в совхозе, потом его сделали управляющим, и, в конце концов, за несколько лет до моего ареста он работал директором совхоза, хотя имел он всего лишь 8 классов образования.

Отцу я за многое благодарен. Это человек какой-то удивитель-

ной правдивости. Чувство справедливости было присуще ему от рождения. Надо сказать, что оно не переходило у него революционный фанатизм, когда справедливости ради одних надо было вешать, а других — одарять имуществом повешенных. У него эта справедливость была по-христиански мудрой, хотя сам он в Бога не верил. Но ведь это и не обязательно — веровать... Вера и Бог пробиваются к нам всячими путями.

Чувство правды, пожалуй, передалось мне от отца. Тем более, что на моих глазах происходила эволюция с моими дедушкой и бабушкой. Кажется, это был последний год жизни Сталина, 53-й, или сразу после того. Дедушка с бабушкой жили тогда в лесу недалеко от пасеки, где и проходило детство мое. Дедушку стали выселять из этого домика без всякого правомерного обоснования. Тогда отец мой (а он к тому времени был коммунистом), причем для него этот коммунизм был своего рода исповеданием, дал бой за дедушку. Он адресовал телеграммы аж генеральному прокурору — в инстанции, которые из нашей деревеньки казались вообще недостижаемыми. И, к чести отца, он выиграл это дело.

Из-за своей незаурядности, своего правдолюбия, отец вечно был изгоем, нес крест страдальца. Разва два с ним поступали совершенно несправедливо. Раз даже уволили. Он тогда обратился в газету «Сельская жизнь». Представьте, в те времена это была очень важная инстанция — газета союзного значения. Приехал журналист, разобрался во всех обстоятельствах, увидел, что отца уволили совершенно необоснованно, была статья в газете и его восстановили. Так что, отец был личностью известной даже на уровне областного начальства.

Он и ныне здравствует, дай Бог ему здоровья. Я всегда вспоминаю о нем с благодарностью.

Когда я был арестован, и после нескольких часов, проведенных наедине со следователем, отказывался давать показания и отрицал всякую причастность к делу (а я был арестован третьим в